

Детство Люверс

Автор:

Борис Пастернак

Детство Люверс

Борис Леонидович Пастернак

Повесть, по авторскому свидетельству, представляет собою начало романа, над которым Пастернак работал зимой 1917 – весной 1918 г. Сюжет повести организован вокруг нескольких эпизодов, которые Пастернак считал в жизни каждого человека ключевыми и о которых писал не раз – пробуждение младенческого сознания «о третьем годе», пробуждение «девического» в девочке-подростке, первая влюбленность и первая встреча со смертью как «прививка» взрослости. Превращение девочки из «гадкого утенка» в «маленькую женщину», будущую красавицу Пастернак как бы уподобляет превращению «обычного» человека – в поэта; вообще «гений» и «красавица» в его поэтическом словаре – понятия предельно близкие. Недаром такую роль в повести, написанной за несколько месяцев до создания основной части книги «Сестра моя – жизнь», играют переключки с Лермонтовым. По мнению некоторых критиков, «Детство Люверс» едва ли не самое совершенное из написанного Пастернаком. Речь при этом идет не об общей значимости вещи, а о ее литературном совершенстве, выдержать уровень которого, видимо, было еще не под силу молодому писателю, что и помешало осуществить весь замысел.

Борис Пастернак

Детство Люверс

Долгие дни

Люверс родилась и выросла в Перми. Как когда-то ее кораблики и куклы, так впоследствии ее воспоминания тонули в мохнатых медвежьих шкурах, которых много было в доме. Отец ее вел дела Луньевских копей и имел широкую клиентуру среди заводчиков с Чусовой.

Дареные шкуры были черно-бурые и пышные. Белая медведица в ее детской была похожа на огромную осыпавшуюся хризантему. Это была шкура, заведенная для «Женечкиной комнаты», – облюбованная, сторгованная в магазине и присланная с посыльным.

По летам живали на том берегу Камы на даче. Женю в те годы спать укладывали рано. Она не могла видеть огней Мотовилихи. Но однажды ангорская кошка, чем-то испуганная, резко шевельнулась во сне и разбудила Женю. Тогда она увидела взрослых на балконе. Нависавшая над брусьями ольха была густа и переливчата, как чернила. Чай в стаканах был красен. Манжеты и карты – желты, сукно – зелено. Это было похоже на бред, но у этого бреда было свое название, известное и Жене: шла игра.

Зато нипочем нельзя было определить того, что творилось на том берегу, далеко-далеко: у того не было названия и не было отчетливого цвета и точных очертаний; и волнующееся, оно было милым и родным и не было бредом, как то, что бормотало и ворочалось в клубах табачного дыма, бросая свежие, ветреные тени на рыжие бревна галереи. Женя расплакалась. Отец вошел и объяснил ей. Англичанка повернулась к стене. Объяснение отца было коротко:

– Это – Мотовилиха. Стыдно! Такая большая девочка... Спи.

Девочка ничего не поняла и удовлетворенно сглотнула катившуюся слезу. Только это ведь и требовалось: узнать, как зовут непонятое, – Мотовилиха. В эту ночь это объяснило еще все, потому что в эту ночь имя имело еще полное, по-детски успокоительное значение.

Но наутро она стала задавать вопросы о том, что такое Мотовилиха и что там делали ночью, и узнала, что Мотовилиха – завод, казенный завод, и что делают там чугун, а из чугуна... Но это ее не занимало уже, а интересовало ее, не страны ли особые то, что называют «заводы», и кто там живет; но этих вопросов она не задала и их почему-то умышленно скрыла.

В это утро она вышла из того младенчества, в котором находилась еще ночью. Она в первый раз за свои годы заподозрила явление в чем-то таком, что явление либо оставляет про себя, либо если и открывает кому, то тем только людям, которые умеют кричать и наказывать, курят и запирают двери на задвижку. Она впервые, как, эта новая Мотовилиха, сказала не все, что подумала, и самое существенное, нужное и беспокойное скрыла про себя.

Шли годы. К отъездам отца дети привыкли с самого рождения настолько, что в их глазах превратилось в особую отрасль отцовства редко обедать и никогда не ужинать. Но все чаще и чаще игралось и вздорилось, пилось и елось в совершенно пустых, торжественно безлюдных комнатах, и холодные поучения англичанки не могли заменить присутствия матери, наполнявшей дом сладкой тягостностью запальчивости и упорства, как каким-то родным электричеством. Сквозь гардины струился тихий северный день. Он не улыбался. Дубовый буфет казался седым. Тяжело и сурово грудилось серебро. Над скатертью двигались лавандой умытые руки англичанки, она никого не обделяла и обладала неистощимым запасом терпенья; а чувство справедливости было свойственно ей в той высокой степени, в какой всегда чиста была и опрятна ее комната и ее книги. Горничная, подав кушанье, застаивалась в столовой и в кухню уходила только за следующим блюдом. Было удобно и хорошо, но страшно печально.

А так как для девочки это были годы подозрительности и одиночества, чувства греховности и того, что хочется обозначить по-французски «христианизмом», за невозможностью назвать все это христианством, то иногда казалось ей, что лучше и не может и не должно быть по ее испорченности и нераскаянности; что это поделом. А между тем, – но это до сознания детей никогда не доходило, – между тем как раз наоборот, все их существо содрогалось и бродило, сбитое совершенно с толку отношением родителей к ним, когда те бывали дома; когда они не то чтобы возвращались домой, но возвращались в дом.

Редкие шутки отца вообще выходили неудачно и бывали не всегда кстати. Он это чувствовал и чувствовал, что дети это понимают. Налет какой-то печальной сконфуженности никогда не сходил с его лица. Когда он приходил в

раздражение, то становился решительно чужим человеком, чужим начисто и в тот самый миг, в который он утрачивал самообладание. Чужой не трогает. Дети никогда не дерзословили ему в ответ.

Но с некоторого времени критика, шедшая из детской и безмолвно стоявшая в глазах детей, заставляла его нечувствительным. Он не замечал ее. Ничем не уязвимый, какой-то неузнаваемый и жалкий, этот отец был – страшен, в противоположность отцу раздраженному – чужому. Он трогал больше девочку, сына – меньше.

Но мать смущала их обоих. Она осыпала их ласками, и задаривала, и проводила с ними целые часы тогда, когда им менее всего этого хотелось; когда это подавляло их детскую совесть своей незаслуженностью и они не узнавали себя в тех ласкательных прозвищах, которыми взбалмошно сыпал ее инстинкт.

И часто, когда в их душах наступал на редкость ясный покой и они не чувствовали преступников в себе, когда от совести их отлегалось все таинственное, чужающееся обнаружения, похожее на жар перед сыпью, они видели мать отчужденной, сторонящейся их и без повода вспыльчивой. Являлся почтальон. Письмо относилось по назначению – маме. Она принимала не благодаря. «Ступай к себе!» Хлопала дверью. Они тихо вешали голову и, заскучав, отдавались долготу, унылому недоумению.

Вначале, случалось, они плакали; потом, после одной особенно резкой вспышки, стали бояться; затем, с течением лет, это перешло у них в затаенную, все глубже укореняющуюся неприязнь.

Все, что шло от родителей к детям, приходило невпопад, со стороны, вызванное не ими, но какими-то посторонними причинами, и отдавало далекостью, как это всегда бывает, и загадкой, как ночами нытье по заставам, когда все ложатся спать.

Это обстоятельство воспитывало детей. Они этого не сознавали потому, что мало кто и из взрослых знает и слышит то, что зиждет, ладит и шьет его. Жизнь посвящает очень немногих в то, что она делает с ними. Она слишком любит это дело и за работой разговаривает разве с теми только, кто желает ей успеха и любит ее верстак. Помочь ей не властен никто, помешать – может всякий. Как

можно ей помешать? А вот как. Если доверить дереву заботу о его собственном росте, дерево все сплошь пойдет проростью, или уйдет целиком в корень, или расточится на один лист, потому что оно забудет о вселенной, с которой надо брать пример, и, произведя что-нибудь одно из тысячи, станет в тысячах производить одно и то же.

И чтобы не было суков в душе, чтобы рост ее не застаивался, чтобы человек не замешивал своей тупости в устройство своей бессмертной сути, заведено много такого, что отвлекает его пошлое любопытство от жизни, которая не любит работать при нем и его всячески избегает. Для этого заведены все заправские религии, и все общие понятия, и все предрассудки людей, и самый яркий из них, самый развлекающий, – психология.

Из первобытного младенчества дети уже вышли. Понятия кары, воздаяния, награды и справедливости проникли уже по-детски в их душу и отвлекали в сторону их сознание, давая жизни делать с ними то, что она считала нужным, веским и прекрасным.

II

Мисс Hawthorn этого бы не сделала. Но в один из приступов своей беспричинной нежности к детям госпожа Люверс по самому пустому поводу наговорила резкостей англичанке, и в доме ее не стало. Вскоре и как-то незаметно на ее месте выросла какая-то чахлая француженка. Впоследствии Женя припоминала только, что француженка похожа была на муху и никто ее не любил. Имя ее было утрачено совершенно, и Женя не могла бы сказать, среди каких слогов и звуков можно на это имя набрести. Она только помнила, что француженка сперва накричала на нее, а потом взяла ножницы и выстригла то место в медвежьей шкуре, которое было закровавлено.

Ей казалось даже, что теперь всегда на нее будут кричать, и голова никогда не пройдет и постоянно будет болеть, и никогда уже больше не будет понятна та страница в ее любимой книжке, которая тупо сплывалась перед ней, как учебник после обеда.

Тот день тянулся страшно долго. Матери не было в тот день. Женя об этом не жалела. Ей казалось даже, что она ее отсутствию рада.

Вскоре долгий день был предан забвению среди форм *passe* и *futur ant erieur*, поливки гиацинтов и прогулок по Сибирской и Оханской. Он был позабыт настолько, что долготу другого, второго по счету в ее жизни, она заметила и ощутила только к вечеру, за чтением при лампе, когда лениво подвигавшаяся повесть навела ее на сотни самых праздных размышлений. Когда впоследствии она припоминала тот дом на Осинской, где они тогда жили, он представлялся ей всегда таким, каким она его видела в тот второй долгий день, на его исходе. Он был действительно долог. На дворе была весна. Трудно назревающая и больная, весна на Урале прорывается затем широко и бурно, в срок одной какой-нибудь ночи, и бурно и широко протекает затем. Лампы только оттеняли пустоту вечернего воздуха. Они не давали света, но набухали изнутри, как больные плоды, от той мутной и светлой водянки, которая раздувала их одутловатые колпаки. Они отсутствовали. Они попадались где надо, на своих местах, на столах, и спускались с лепных потолков в комнатах, где девочка привыкла их видеть. Между тем до комнат у ламп было касательства куда меньше, чем до весеннего неба, к которому они казались пододвинутыми вплотную, как к постели больного – питье. Душой своей они были на улице, где в мокрой земле копошился говор дворни и где, леденя, застывала на ночь редящая капель. Вот где вечерами пропадали лампы. Родители были в отъезде. Впрочем, мать ожидалась, кажется, в этот день. В этот долгий или в ближайшие. Да, вероятно. Или, может быть, она нагрянула ненароком. Может быть и то.

Женя стала укладываться в постель и увидела, что день долог оттого же, что и тот, и сначала подумала было достать ножницы и выстричь эти места в рубашке и на простыне, но потом решила взять пудры у француженки и затереть белым, и уже схватилась за пудреницу, как вошла француженка и ударила ее. Весь грех сосредоточился в пудре.

– Она пудрится! Только этого не доставало.

Теперь она поняла наконец. Она давно замечала.

Женя расплакалась от побоев, от крика и от обиды; от того, что чувствуя себя неповинною в том, в чем ее подозревала француженка, знала за собой что-то такое, что было – она это чувствовала

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.me/ru/boris-pasternak/detstvo-lyuvers>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)